

Ш а р и ф   А з а я р

## Т Р И   Р А С С К А З А

### ФОТОГРАФИЯ

Деда ослепил я. Я был достаточно мал, чтобы всем своим существом поверить в это, и достаточно взросл, чтобы испытывать угрызения совести. По большому счету, он и сам был виноват. Очень нервный человек. Постоянно прикрикивал на нас, не давал разговаривать и играть. Отец выстругал ему большую палку — та доставала от его кровати до самой двери комнаты. Когда мы озорничали, эта волшебная палочка выискивала нас повсюду, ударяла по голове и отступала. Рука у него тяжелая была. Нам оставалось только потирать ушибленное место.

В такие минуты я сердился на деда. Меня раздражало, что отец бреет ему голову и стрижет бороду, а мать моет ноги. Кто такой этот нервный старик? Откуда он взялся в нашем доме? Если б не он, все шло бы отлично.

И с мамой он ругался. Однажды дал ей пощечину. Мне стало так плохо. Хватило б силы, так побил бы. Только на отца я и надеялся, а тот молчал. Будто ничего не слышал, ничего не видел. Он так любил деда... «Отец, родненький», — только и говорил он. Когда у деда поднималось давление, отец садился на корточки и погружал его ноги в таз с горячей водой, помогал переодеться, брал под руку в ветреную погоду и провожал в туалет. А дед в благодарность за все это больше любил дядю, брата моего отца. Не отставал от него, «женись», говорил. А дядя с ним не считался. Знай, только смеялся.

«Чего ты бьешь?!» — крикнул я однажды, раздраженно выкинув свою маленькую руку. Он разозлился еще пуще. Встал с кровати и побежал за мной, так сильно дернул за мочку уха, что пошла кровь. Еще и обругал меня: «Чтоб тебе провалиться!» С того самого дня я его возненавидел. Вечером отец и мать спускались во двор поработать, дед без устали звал меня, а я нарочно не откликался. Хотел воды, а мне хоть бы хны. Ему приходилось вста-

вать, выходить в коридор, не переставая ворчать, и наливать себе дрожащей рукой воды. Мне доставляло невероятное наслаждение видеть его слабость.

Я поумнел. Прятался под кроватью, когда он на меня злился. Ни сам он, ни его палка не могли меня тут достать.

Отец над всем этим смеялся: «Не можете поладить? Ха-ха-ха!» Дед тоже улыбался, поглаживая бороду. Даже его висящая на стене фотография, сделанная в молодости, гневно на меня взирала. Я ненавидел и эту фотографию. Отец говорил, эту фотографию дед сделал перед отправкой на войну. Совсем молодой на этой фотографии. Его постригли «полубоксом», на макушке торчал чуб. Китель застегнут до самой верхней пуговицы. Он смотрел так решительно, что, казалось, снесет с лица земли всю Германию. Но в то же время вызывал смех. Вряд ли такой солдат может прикончить фашиста. Сил у него хватало лишь на меня...

Едва прибыв на фронт, он получил ранение, попал в плен. По его словам, это случилось в Крыму. Он тайком от чужих ушей хвалил немцев. Говорил: «С нами, пленными, хорошо обращались, давали молоко, булку, вермишель, рис, печенье... Даже шоколад!» Я ему не верил, а отец верил. Отец рассказывал, что вернувшийся с войны, точнее, из плена, дед от страха ровно три года ни с кем не говорил. Прикинулся немым. Боялся, что расстреляют как изменника. Он всех убедил, что нем. Даже голоса не подавал. Когда все немного улеглось, начал незаметно беседовать с отцом, объяснять ему обстоятельства. Эх, вот бы его убили в плену. Я бы так радовался! То есть если б его убили и я бы его не знал, то обрадовался или расстроился бы за своего отца? Наверное, отец любил своего отца так же сильно, как я своего. Мне так хотелось отомстить деду, уловив подходящий момент. Дернуть за усы, когда тот спит, шлепнуть по плешивой голове и убежать, плюнуть в стакан с чаем, помочиться в туфли... Но почему-то ничего этого я не делал. Кажется, боялся фотографии на стене. Она так гневно на меня смотрела... Однажды я решил, какой станет месть; тайком от всех я снял фотографию со стены, положил на пол, и выколол глаза кончиком циркуля. Мама застала меня за преступлением, закричала и в ужасе расцарапала себе лицо. Я испугался. Заплакал. «Почему он меня ругает?» — спросил я. Мама успокоила меня и спрятала фотографию. Сказала: «Он тебя любит. Когда ты махонький был, он раздевал тебя и пря-

тал у себя за пазухой, целовал пипиську, обнимал и ласкал, а ты, будь благословен Аллах, родился белым и пухленьким малышом, я боялась, что он возьмет тебя и съест!»

Я рассмеялся, меня все это позабавило. Но раскаяния от содеянного не испытал. Только дядиных усилий стало жаль. Дядя отправил почтой фотографию в Москву, где ее и увеличили. Он нетерпеливо ждал, когда ее вышлют обратно. Очень радовался, что та вышла такой красивой. Он ставил одну подле другой фотографию со спичечный коробок и фотографию размером с книгу. Дед, родители и даже соседи с изумлением смотрели на это чудо техники.

Видит Бог, деду не хотелось вешать фото на стену. Кажется, боялся умереть. Однажды сам сказал: «Сынок, я еще не умер!» Дядя обнял его и поцеловал в ухо: «Горбачев тоже не умер, отец, но его фотографии повсюду красуются».

В тот день, когда я выколол деду глаза, началась война. Сказали, если мы не переедем, всех нас убьют, уведут в плен. Отец на скорую руку погрузил весь скарб в грузовик. Дед с мамой сели в кабине, а мы в кузове. Мы, дети, радовались. Наверно, предстояло увидеть интересные края. Степь... Футбол... Вооруженные солдаты... Танки...

С тех пор у нас не было стен для дедушкиной фотографии.

Я этому даже немного радовался. Отец никогда не узнает, что глаза на фото выколол я.

Дядя остался в деревне, чтобы забрать скотину. Хорошо помню, как он с нами прощался. Дольше всех обнимал деда, с отцом простился холодно, мама встала на цыпочки и поцеловала дядю в подбородок. Высоким был дядя. И с ружьем на плече. Он улыбнулся мне. Когда нагнулся поцеловать меня, ружье сползло с плеча и упало на меня, он вернул его на место, сунул большой палец за ремень и сощурил один глаз: «Не скучай, вернись и ходим на охоту. В Хаджи Сулеймане водятся хорошие зайцы». Сел на белого коня и поскакал к товарищам. С того самого дня дядю мы больше не видели. Пропал без вести на войне. Но белый наш конь прискакал обратно. Дядя попросил товарищей присмотреть за конем, а сам отправился нас проведать. Но не нашел ни нас, ни товарищей, когда вернулся обратно... Мы узнали об этом месяц спустя. Мы считали, что он с товарищами. Да, белый конь вернулся, а дядя — нет. Я впервые увидел деда плачущим. Он обнял коня за шею, прижал-

ся лбом к его лбу: «Что ж ты оставил моего сына? Я ведь его тебе доверил...» И после этих слов тихо заплакал. Конь хотел будто возразить, собираясь заржать, но, увидев деда плачущим, промолчал, опустил уши. Словно стеснялся взглянуть в лицо деду.

Земли Хаджи Сулеймана, о которых говорил дядя, — бескрайняя степь. Здесь росла одна только полынь, белокопытник, ежевика, мелкие травушки и редкий тамариск. Кругом солончаки. Воды тут не найти. Мы обосновались в частично обрушенной землянке. Отец попробовал привести землянку в порядок, поставить подпорку — и тут пришла весть о пропаже дяди. Отец оставил деда за главного, а сам отправился на поиски брата. Деда будто подменили с того самого дня, когда он заплакал, обнимая коня. Кажется, правду говорила мама. У него было доброе сердце. Глаза у него ослабли, но сложа руки он не сидел. Пас коз, прибирался во дворе, закапывал змеиные норки, искал доски и шифер, уцелевшие от разрушенных построек. А по утрам, взяв меня с собой, отправлялся собирать дождевую воду. Дед хорошо знал эти края. Говорил, например, через недели две дождь перестанет лить и начнется жара. Так оно и случилось.

Ему не легчало. Мог улыбнуться — но я-то видел, что внутри у него все плачет. Нацепив очки с толстыми линзами, он смотрел на пыльные дороги, а когда не мог ничего разглядеть, спрашивал у меня, задавал много вопросов. Когда я отправлялся за козами, он, оставшись в одиночестве, плакал. Возвращаясь, я старался не издавать ни звука, ходил осторожно, чтобы не хрустнула под ногой ветка, — не хотел мешать деду облегчить душу. Точнее, стеснялся этого. Думал, если он наплачется вволю, все обойдется.

Дед все плакал и плакал, и начинал видеть все хуже и хуже. От жары у него пересыхали зрачки. Тускнели, вокруг проступали белые ободки. Коз считать он больше не мог. А моему пересчету не верил, только попусту спорил, ругал себя за плохое зрение. Он худел — и чем больше худел, тем больше походил на того молодого мужчину с фотографии. И чем больше походил на того человека, тем больше я ужасался. Но тосковать мне он не давал. Говорил, человек должен уметь жить и в самые тяжелые времена, проявлять волю. Рассказывал о невыносимо тяжелых годах в прошлом, приводил примеры, рассказывал сказки. Однажды я спросил у него: «Раз так, почему ты плачешь по дяде?»

Он вздрогнул. Долго молчал. Потом глубоко вздохнул и сказал: «Я назвал его именем брата, а брат мой тоже пропал без вести на той войне!»



На землях Хаджи Сулеймана давно не выпадали дожди. Засуха царила не только на земле, но и на небе. Дышать было нечем. Такое ощущение, что нас опустили в тандыр. Наши тела пахли прогорклым маслом. Земля от жары потрескалась, казалось, вот-вот послышится хруст. Жара оказалась невыносимой даже для змей, они постепенно пропали. Мы не знали покоя от мошкары и комаров. Комары проникали даже через марлевые сетки. Солончаки захватывали новые территории, вся даль белела, как от выпавшего снега. Засохшая земля хрустела под ногами, превращаясь в пыль, ветер поднимал эту пыль, и та не оседала еще много дней. Когда чуть прояснилось, я видел реку вдали. Дед говорил, чтоб я не обманывался и не шел к той реке. Это мираж. Эта картинка встает перед глазами от жары. Говорил, что отлично знаком с этими краями, здесь отродясь не текла река, не бил родник. Но, ей-богу, я видел ее собственными глазами. Но, несмотря на всю жажду, не шел к той реке — боялся пропасть, как дядя.

Когда поднималась пыль, ничего разглядеть не получалось. Люди теряли дорогу и не могли вернуться домой. Порой и скотина терялась в этом тумане из песка. Возникало ощущение, что нас на своих крыльях перенесла сюда из дедовского дома, где на стене висела его фотография, какая-то неведомая птица. И почва, и вода, и солнце этого края совершенно иные. Смелые на прежнем месте люди совершенно изменились. Тут они стали робкими, беспомощными, потерянными, заплаканными.

Дед научил меня определять направление ветра. Я смачивал слюной палец, выставляя его вперед, и безошибочно определял направление. Если умеешь ориентироваться и не обманываться миражом, никогда не пропадешь.

— Дедушка, а дядя тоже увидел мираж? — спросил я однажды.

— Он не потерялся, — сердито ответил дед. — Он знает пути-дороги. Только вернуться не может!

В то лето он, сидя на крыльце, рассказывал нам сказки, давал советы и не сводил глаз с дороги. Последний свет в глазах расходо-вал на моего дядю. Пыльные дороги, тянущиеся до реки на гори-зонте, высосали весь свет его глаз, будто нарочно петляли, чтобы измучить его. Порой его взгляд останавливался на какой-то тени вдальеке, он щурился чуть ли не всем лицом, пытаясь разглядеть эту тень, а когда не получалось, звал на помощь меня.

Мы кое-как дотерпели до первого снега. По сути, даже терпеть не получалось. Несколько раз переболели, потеряли от горячки двух коров. На моих ногах появились язвочки. Было так больно! Дед отвел меня в белый вагончик, стоявший в округе, к врачам, но постеснялся сказать: «У него нет обуви». Вместо этого сказал: «Бегае т босиком, непоседа». Высокая врачиха в черных туфлях на каблуках приятным голосом сказала переводчику, чтоб я больше не бегае т босиком, у меня аллергия на верблюжью колючку. Мне было стыдно за грязь и язвы на ногах, я старался скрыть ноги под кроватью. Я совсем растерялся, когда врачиха добро и сострадательно улыбнулась, заметив мою пристыженность. Я опустил голову.

Врачи осмотрели деду глаза. Сказали, высокое давление. Сказали, он может окончательно потерять зрение от переживаний и напряже-ния. Здесь никаких условий нет. Надо срочно везти в больницу.

Мне дали много лекарств и мазей в целлофановом пакете. Ле-карства очень помогли, но ноги продолжали зудеть. Дед зарезал курицу, снял с нее кожу, обернул ею мои ноги, сверху наложил мягкую ткань, прошептал молитву и под конец добавил: «Родненький мой». У меня слезы навернулись на глаза. Не осталось никаких сомнений в рассказе мамы: он и вправду держал меня махонького за пазухой. Дед произнес эти слова со столь большой любовью, что через пару дней ноги мои зажили.

Отец появился в середине лета. От дяди никаких вестей. Сказал, в наших родных краях идут кровопролитные сражения, каждый день погибает много людей, пропадают без вести... Кого искать? У кого спросить?

Сердитый дед не смотрел отцу в лицо, не разговаривал с ним. Отец потом бранился: «Я-то в чем виноват?»

В один из жарких дней, когда и надежды наши превратились в головешку, дед воздел лицо к небу и прошептал: «Дождь полъет». «Откуда знаешь, дедушка?» — подбежал я к нему. «Воздух пахнет

горами», — ответил он, шумно вдыхая воздух. Один из стоящих поодаль сказал: «Старик совсем сбрендил». Дед, не теряя выдержки, сказал еще более уверенным тоном: «Польет. Обязательно. Вот увидите...»

И вправду, чуть спустя небо заволокли тучи и полил настоящий ливень. Мы так обрадовались. Дед тоже радовался. Нацепив очки, он смотрел на тучи. Но, кажется, не видел ничего. Подставил ладони дождю. Шумно втянул воздух... Запах влажной земли наполнил нас жаждой жизни.



Дед научил меня заговорам, смысла слов в которых я до сих пор не понимаю. Заговор против волков... Я ведь уже говорил, что на землях Хаджи Сулеймана теряется и скотина, не может вернуться назад в хозяйский двор. Утром мы находили там и сям их туши. На земли, где нашли приют беженцы, повадились забредать волки. Волки знали, что в этой степи теряется скотина. Дед говорил. Говорил, волки очень умные. Настоящий чабан должен кормить как стадо, так и волков. В противном случае, волки возьмут верх. Рассказывал, что в соседнем крае на людей напала стая матерых волков. В одну из дождливых осенних ночей не вернулся наш белый конь. Я с ума сходил. Я так не волновался, даже когда пропал дядя. Белого коня я любил больше своего отца. Красивый конь. Я ни разу в жизни не видал такого белоснежного, такого отважного, такого сильного животного. Когда он ржал, сердце у меня выскакивало из груди. Это ржанье звучало настолько тоскливо, что екало сердце, но и воцарялся покой. А как он пах... Боже мой!

Белый конь был одним из членов нашей семьи. Я не представлял нас, нашу семью без него. И еще через него я не терял связи с дядей. Его задрал волк? Как такое стерпеть? Может, прямо сейчас, в эту минуту на него напал матерый волк? Может, он теперь ржет своим тоскливым голосом, от которого екает сердце, и зовет на помощь отца, дядю и даже меня? Я заходил домой, выбегал во двор, выглядывал из ворот в зловещую тьму. Смотрел — и меня пробирала дрожь. Дед увидел, что я схожу с ума. Тогда он достал из кармана складной нож, раскрыл его, поднес ко рту и прочел заклин-

вание. А затем крепко обвязал бечевкой: «Я закрыл волку пасть! В эту ночь с нашим конем ничего плохого не случится. Но ты не должен раскрывать нож, пока наш конь не найдется!» Я спрятал нож подальше от глаз. Вернулся и все просил деда повторить разговор до тех пор, пока не выучил эти слова наизусть.

Белый конь прискакал целым и невредимым. Я подбежал к нему и поцеловал в мягкий нос, пропахший полевыми травами и вьюнками. А нож не раскрывал целую неделю, чтобы волк не причинил вреда и другим животным.

Когда на землях Хаджи Сулеймана выпал снег, дед полностью ослеп. Я показывал на пальцах единицу или двойку перед его глазами, но он ничего не видел. Хотя очки по-прежнему не снимал. И даже велел маме протирать стекла.

Дед сидел возле нашей землянки лицом к подтаявшему снегу и думал о чем-то своем. И тут я подумал, что во всем виноват я сам. Если б не выколол циркулем глаза на его фотографии, он бы не ослеп, мы не потеряли бы свой дом, дядя не пропал бы без вести. Будь дед зряч, взял бы свою длинную палку и прогнал бы чужих людей, отыскал бы дядю, спас бы нас от жары и мошкары на землях Хаджи Сулеймана.

Я был достаточно мал, чтобы в это верить, и достаточно взросл, чтобы от этого мучиться.



Умирая, дед завещал, чтобы дядю похоронили с ним рядом. Рядом с его могилой оставили место. Но дядя не вернулся и мертвым.

Когда мы ставили надгробие, не нашли другой фотографии. Мама порылась в вещах и отыскала только ту фотографию, глаза которой я выколол. Ее и дали мастеру.

Только я могу различить царапины от циркуля на фотографии на надгробном камне и от этого мне становится больно. Настолько больно, что я и сам готов сделать завещание: похороните меня в отведенном для дяди месте, рядом с дедом. В детстве он прятал меня, голого у себя за пазухой, пусть и после моей смерти будет так... Хочу прижаться к нему и просить прощения за то, что выколол ему на фотографии глаза и обрек его на слепоту и мрак.



## ГУМРУ

*Посвящается Гюнель Мевлуд*

Как только я услышал, что Гумру пришли сватать, мне будто шило в зад воткнули. Сломая голову я выбежал и увидел возле их вагона ГАЗ-53 с деревянным кузовом. Так и продолжил бежать вплоть до самой их двери...

Мы учились в одной школе. Были соседями в родном селе. В школу ходили вместе. Должен признать, она была умнее, талантливей, смелее меня. Слово «смелая» не совсем точно выражает ее характер. Она была как горячая головешка. Вытворяла всякое: била мальчиков, задавала учителям неожиданные вопросы, ставя их в тупик. Всю школу вверх дном ставила. Но училась на отлично, поэтому никто ей слова лишнего не мог сказать. Только однажды нам удалось подтронуть над ней. Кто-то из ребят услышал по телевизору стихотворение:

*Гумру<sup>1</sup>, сидишь на ветке,  
Гумру, который час?*

«Гумру, который час?», «Гумру, который час?», «Гумру, который час?» — эти слова в школе раздавались из всех углов. Только эти слова выводили Гумру из себя. Однажды она даже заплакала тайком от обиды! Я быстро отошел от окна, чтобы войти в класс и увидеть ее слезы, но она уже успела успокоиться и выйти наружу, чтобы раздать оплеухи паре-тройке нахалов.

Порой и я кричал издали: «Гумру, который час?» — и тут же убегал. Она так огорчалась! Будто несла на плечах всю тяжесть мира. Я сам себе изумлялся: почему она так расстраивается из-за этих слов? Однажды поинтересовался у нее самой, она ласково взяла меня за руку и сказала: «Братец, больше так мне не говори! Ладно?»

Она всегда называла меня «братцем» и говорила это так ласково, что я таял, как воск.

Она росла так быстро. Будто камыш, будто дерево. Да и сильной была. С легкостью выворачивала руки как девочкам, так и мальчикам, подчиняя их себе. Но меня не трогала. Может, из-за того, что мамы наши — родственницы. К тому же ладящие между со-

<sup>1</sup>Гумру — голубка и женское имя (азерб.).

бой родственницы... Ее отец дружил не только с моим отцом, но и со всеми нами. Мы радостно кричали, когда он заходил к нам по вечерам. Мы, дети, играли в сторонке, а отец Гумру сражался в нарды с моим отцом. А матери наши, кумушки, тихо судачили, иногда одергивая нас.

Гумру переворачивала наш дом вверх дном. Никак не сидела смирно, несмотря на увещания матери. Только отца она побаивалась, а тот, кроме ласковых слов, ничего ей не говорил. Мой отец тоже молчал. Смотрел украдкой на эту шалунью и красавицу и улыбался. Наконец, моя мама не выдерживала: «Гумру, родная, не будь ты такой красавицей, я бы молила Аллаха сделать тебя мальчиком». А Гумру хохотала: «А я ни одному мальчику не уступлю!»

Честно говоря, я немного ей завидовал. Все ее любили. Все хотели, чтоб стихи читала непременно она, песни пела она. Новые платья, портфель, ручки и тетради, книги — все сперва покупалось для нее. В начале учебного года, когда в школе раздавали учебники, лучшие, незамаранные экземпляры выдавали именно ей. Да, там, где была Гумру, никто другой не мог претендовать на ее место. А как она танцевала на свадьбах... Боже мой! Отец купил для нее черное платье с блестками. Когда она ступала в этом платье, мне казалось, шагает сама звездная ночь. А луна — это лик Гумру, и этот лик освещает все вокруг. Свет ее зеленых глаз пронзал все мое существо. Она любила танцевать под песню «Гарагез». А певец ей льстил, менял слова песни и пел: «Алагез бой-бой!»<sup>2</sup> Все участники свадьбы вместе с музыкантами поднимались с мест и от всего сердца аплодировали Гумру, которая парила, как птица. А Гумру, раскрыв руки, кружилась и кружилась, парила и парила. Ее ноги не касались земли. Она переняла пару движений у знаменитой узбекской исполнительницы этой песни. И, поверьте, Гумру исполняла эти движения в тысячу раз краше, чем сама певица. Ее руки извивались, точно змеи, вдоль изящного, как деревце, стана, то обвивали корпус, то раскрывались наружу. Никто не решался танцевать вместе с ней. Только одна старуха, смешно выкидывая руки, подошла к ней, поднесла к себе ее лицо для поцелуя, обвела вокруг головы ладонь с горстью соли и кинула ту в угол свадебной палатки.

---

<sup>2</sup> Гарагез — черноглазая. Алагез — зеленоглазая (*азерб.*).

Ее отец стоял с краю, улыбался и аплодировал дочери. Гордился ею. Я тогда обратил внимание, что Гумру вся в отца. Высокая, красивая, сильная, лунолика. И глаза у нее точь-в-точь, как у отца. Как две капли воды.

В ту пору началась война, и Гумру перестала ходить в школу. Ее отец вместе с отрядом добровольцев отправился на защиту деревни. За пару-тройку недель до того, как мы стали беженцами, пришла весть о его смерти. Помню, сороковины не смогли пройти в нашей родной деревне.

Никогда я не видел Гумру плачущей. Смерть отца, беженство — ничто не вызвало у нее слез. Отчего-то я никак не мог представить ее плачущей. Но мне так хотелось это увидеть. Однажды я спросил у мамы:

— Мама, Гумру плакала на похоронах отца?

Мама обернулась и так на меня взглянула, что я испугался. Посмотрела, не сводя глаз, а затем сказала:

— Чего глупости говоришь?! Разве по отцу не плачут?

Я не стал признаваться, что думал совсем о другом. Если б признался, мама сочла б меня окончательно сбрендившим. Как это так: я никогда не видел Гумру плачущей и теперь готов все отдать, чтобы увидеть?

Но как-то и где-то я видел ее после того, как она плакала и успокоилась. Слезинка, застывшая на реснице, так красила ее, от этой прозрачной слезинки ресницы казались еще черней. Даже в горе она выглядела красивой. Зеленые глаза становились больше. Будто слезы смывали всю муть с ее глаз, они становились прозрачней, притягательней.

Семья Гумру была семьей шахида, потому им выделили целый вагон. Родственники привезли этот самый вагон и поставили в нашей деревне, куда мы бежали. Его поставили возле нашего нового квартала. Тяжелые были времена. Мать Гумру хворала, сестры ее мал мала меньше. Они переехали в деревню, к нам, чтобы собирать хлопок и получать в колхозе зарплату и зерно. Не то пришлось бы голодать.

Семья Гумру осталась без мужчины, потому за всеми поручениями приходилось бегать мне. И мама, и отец крепко-накрепко велели: если кликнут, бросай все дела и беги на подмогу. Но я всегда

был рад помочь не ради своих родителей, а ради самой Гумру. Что за чувства я к ней испытывал? Так и не смог в этом разобраться.

Удивительно, но даже эти тяжкие дни не смогли ее сломить. Закрыв лицо белой марлей, натянув мужские брюки, она собирала хлопок под палящим солнцем, но даже тогда не теряла молодой красоты. Выглядела еще притягательней от того, что не особо заботилась о внешности.

От сбора хлопка мои пальцы покрылись волдырями. Оказывается, распутившийся хлопок следовало доставать из треснувшей коробочки аккуратно. Не причиняя боли ни себе, ни растению... Любя... Осторожно... Так, как это делала Гумру...

Рекорд — 100 килограммов. Редко кто мог собрать такой объем. Гумру быстро обвыкла. Руки у нее оказались проворными. Складывалось ощущение, что не хлопок она собирает, а играет на каноне. Ее руки порхали над кустами, как две голубки, собирали «корм», который затем опускали в подол. Собирая хлопок, она не переставала петь. Но слов я никак разобрать не мог. В зной звук расходился тяжело и медленно...

Однажды вечером Гумру выдала рекорд: 110 килограммов. К тому же 110 килограммов отборного хлопка, без примеси почвы, листьев и коробочек... Председатель колхоза взял горсть и показал ее в качестве образца остальным сборщикам. А я иногда бросал в мешок с хлопком недозрелые коробочки, чтобы мешок оказался тяжелее.

Глядя на белоснежный, чистейший хлопок, собранный Гумру, я поверил, что все образуется. В ту ночь хлопок сиял во мраке. Может, ночь выдалась особенно темной. Или я никогда столь пристально не смотрел на собранный хлопок. Хлопок оказался особенным, ночь выдалась темной, или видел я в ту пору ясно — не знаю.

«Гумру, который час?» — однажды крикнул я издали во время сбора хлопка.

Она остановилась, выпрямилась, отбросила с лица марлю и громко расхохоталась, глядя на меня.

— Помнишь, Гумру? — сказал я растроганно.

— Да ладно, забудь, мы детьми были! —махнула она рукой, заново прикрылась марлей и продолжила работать. И снова стала что-то напевать...

Никто другой не пел на тех ветках, на которых сидела Гумру-голубка. Вот так замирало время вплоть до минут и секунд...

Собрав хлопок, она в ту осень купила тонну зерна, одела и обула сестер, купила им школьные принадлежности и отправила в школу.

Справлялись они хорошо. Гумру не трогали тоскливые песни матери, которые та иногда пела: «Говорят, жарко в степи / Говорят, жара не в радость». Наоборот, она раздражалась: «Хватит, женщина, беду накликаешь». В такие минуты она выводила трех младших сестер из вагона, чтобы им не становилось плохо при виде тоскующей матери.

«Пускай идут в школу, учатся, жаль их», — говорила она мне о сестрах.

А теперь Гумру пришли сватать...

Жених — худой мужчина лет тридцати с квадратными усами. То есть намного старше Гумру — видно невооруженным глазом. Мать его вся наряжена в золото, даже зубы золотые. Естественно, чтобы показать свою состоятельность... Но сын этой женщины — потенциальный жених — всего лишь водитель ГАЗ-53. То есть обычный работяга с испачканными мазутом руками. Своим внешним видом он никак не вязался с матерью. Он ожидал снаружи. Не заходил в вагон то ли от стеснения, то ли от того, что дома не было мужчин. Опершись рукой на деревянный кузов, пытался скрыться от солнца. Я был вне себя, как только его увидел. Готов был наброситься. Я тут же понял, что эта разряженная в золото велеречивая толстуха старается заполучить для своего неказистого сына Гумру, пользуясь бедностью и беспомощностью ее семьи. А кто другой позарится на беженку? Ни кола, ни двора, бесприданница, ни отца, ни брата! Если бы тогда это отвлеченное понятие — «беженство» — предстало бы передо мной в человеческом обличье, я б живого места на нем не оставил, переломал бы все кости, выбил бы все зубы!

Мать Гумру нашла общий язык с золотозубой толстухой, с которой сидела перед постеленной на полу скатертью. Они так сладко беседовали о том, о сем. Время от времени гостя шлепала себя по колену и приговаривала: «Ну и ну!» — тем самым выражая свое участие и сострадание.

А Гумру занималась своими делами. Стояла у входа в вагон и заговорщически посмеивалась. Гумру, который час? Какое еще там, не глупи... Эта девушка меня в могилу сведет. Я себя поедом ем, а ей хоть бы хны, подтрунивает над всеми, включая меня самого.

— Гумру, который час? — спросил я на сей раз всерьез.

— Вчерашний день, братец!

Я обернулся, она мне подмигнула и зашлась в беззвучном смехе. Слово «братец» она сказала со всегдашней ласковостью, теплотой. Это было столь сладко, столь близко, что я никогда не мог переступить эти чувства и полюбить Гумру, как парень девушку.

Золотозубая толстуха оглянулась по сторонам и, казалось, всем своим большим телом почувствовала: что-то идет не так. В эту минуту ко мне обратилась мать Гумру: «Сынок, позови гостя внутрь, пускай под солнцем не стоит, жарко ведь».

И вправду, стояла невыносимая жара. Настолько невыносимая, что мне на мгновение стало жаль и жениха — мужичка с длинными, тонкими, как макароны, запястьями. Я насилу завел его в вагон. Правду говоря, скромным он оказался. От смущения не знал, куда деть руки. А вагон-то из одного-единственного отсека состоял. Негде спрятаться.

Гумру принесла гостям чай, не переставая беззвучно смеяться. Она зажала между зубов кончик наброшенного на голову платка, чтобы не прыснуть при гостях. Мне стало стыдно за нее и стало еще жалче сидящего напротив тонкокостного жениха с квадратными усами. Толстуха увидела: дело принимает дурной оборот, и в раздражении отказалась от чая. Гумру, державшая в руках поднос, обернулась с такой наигранной манерностью, что, казалось, это движение взметет в воздух скатерть. Ответный огонь заставил врага отступить. У мамы Гумру глаза на лоб полезли.

Этот беззвучный смех длился минуты три. Но ситуация так и не разрядилась. Никто не находил слов. Сестры Гумру внимательно смотрели через небольшую перегородку на толстую женщину и ее худого сына.

Я тоже растерялся, не знал, что делать. Смотрел на худого уса-того гостя, который не сводил глаз с остывающего чая. Мой взгляд остановился на больших черных часах на его тонком волосатом запястье и, чтобы разрядить обстановку, я спросил: «Не скажете, который час?»

Гость растерялся, нервно оглянулся по сторонам, наконец, понял вопрос, взглянул на часы и запинаясь ответил: «С-с-сорок пять ми-минут тре-третьего!»

И тут...

И тут никто не смог удержать фонтан раскатистого смеха. Сначала прыснула Гумру, затем я, за мной обе женщины и дети. Смеялись все, кроме худого усатого гостя! Мы смеялись, смеялись, смеялись...

Когда все немного улеглось, толстая женщина сказала красному, как рак, сыну: «Вставай, сынок, кажется, наш уговор не сложился».

«Ну, как тебе мой жених?» — взглянула с улыбкой на меня Гумру, проводив гостей. С той самой улыбкой, которая появлялась у нее во время детских проказ. И я увидел в глубине ее зеленых глаз бездонную пропасть.

## МОЛИТВА ДЛЯ МЕСМЕ

*Бисми л-Ляхи р-Рахмāни р-Рахīm<sup>3</sup>*

Весть о смерти Месме разошлась по «финскому» поселку, как сигнал тревоги. Все собрались во дворе дома номер четырнадцать. Тело обмыли в отведенной для этой цели палатке, затем уложили лицом к Кыбле. Мулла раскрыл ладони к небу и начал читать молитву.

Жителей «финского» поселка знали по номерам их домов. Месме жила одна в доме номер четырнадцать. Эта женщина лет пятидесяти-пятидесяти пяти выглядела достаточно свежо для своего возраста. Аккуратно одевалась, медленно шагала, скромно опустив голову и никому не заглядывая в лицо. Никто не видел ее улыбающейся, не говоря уж смеющейся.

*аль-Ҳамду ли-Лляхи Рабби ль-‘āлямйн<sup>4</sup>*

Месме была одной из первых жительниц нашего поселка, куда мы сбежали от войны. Она пришла сюда еще сорок лет назад. Ее история была душераздирающей.

Я часто слышал от взрослых о злоключениях Месме и запомнил все до мельчайших деталей. Когда заходила речь о Месме, женщины плакали, утирая слезы, а мужчины, опустив голову, погружались в печальные думы.

<sup>3</sup> Первый аят: Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! (Здесь и далее цитируется сура «Аль-Фатиха».)

<sup>4</sup> Второй аят: Хвала Аллаху, Господу миров,

*ар-Рахмāни р-Рахїм<sup>5</sup>*

Дед и бабушка Месме сбежали в нашу деревню из родных краев. Бабушка была красавицей, бек на нее позарился, муж понял, что потеряет жену, и сбежал вместе с ней ночью. Бежали они в горы. Говорят, бабушка размазала грязь по лицу, оделась в рвань, чтобы выглядеть непривлекательной и не притягивать внимания встречных мужчин.

В ту пору мать Месме была крохотной. Она выросла и вышла замуж за деревенского парня. Тот был сиротой, но смелым и красивым парнем. Чуть позже началась война, ее молодого мужа призывали. Месме родилась в тот день, когда объявили о победе под Сталинградом. Мать очень радовалась ее рождению: дай Бог, муж победит фашистов, доберется до самого Берлина, собственными руками отправит Гитлера в ад, вернется в деревню героем, а дочь станет для него лучшим подарком.

*Мāлики йаўми д-дїн<sup>6</sup>*

По правде говоря, девочек в деревне не особо жаловали. На мужчин, у которых не рождалось сыновей, смотрели сверху вниз, считали их бесплодными, не способными оставить наследника. Близкие молили Аллаха послать таким мужчинам — объектам пренебрежения — «благословенное чадо». Выходило, дочь — не благословенное чадо. По крайней мере, не особо желанное.

Месме не походила на других девочек и вправду была очень милой. Ее мать отчего-то верила, что все будут обращаться с ее дочерью ласково и сострадательно, не считать кем-то второсортным только из-за того, что та девочка. Все будут уважать дочь солдата, который прикончит Гитлера и вернется героем войны.

*Иййака на'буду ва-иййака наста'їн<sup>7</sup>*

---

<sup>5</sup> Третий аят: Милостивому и Милосердному.

<sup>6</sup> Четвертый аят: Властелину Дня воздаяния!

<sup>7</sup> Пятый аят: Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.



Орало радио: «Немецкие войска разгромлены под Сталинградом и отступили». Умные люди в деревне считали, что исход войны предрешен.

Мать Месме не понимала смысла этих сложных слов, но разделяла общую радость. Она, как и все деревенские женщины, окрасила волосы хной. Думала, муж ее убил Гитлера, и война закончилась.

А война все шла. Битва под Сталинградом стерлась из памяти, отец Месме не смог убить Гитлера, на него пришла похоронка.

Прошло еще время, Гитлер умер, война закончилась, но Месмэ и ее мать не смогли разделить эту радость.

Мать Месме взирала на огромный мир через крохотное окошко своей хибары, и сквозь это окошко видела только тоску. Месме помнила свою мать только плачущей в дальнем уголке этой хибары. Тихо, без рыданий плакала мать.

*Ихдинā ҫ-ҫирāта ль-мустақīm<sup>8</sup>*

Когда умер Сталин, мать Месме вместе со всеми аксакалами деревни причитала во весь голос:

«Где ты, дядя Гасым, брат твой умер! Где же ты?!»

Все вокруг плакали настоящими слезами. От этого мать Месме разошлась пуще прежнего:

«Счастливец ты, дядя Гасым, вовремя умер, не застал эти тяжкие дни!»

Гасым-киши принимал активное участие в деле строения социализма, потому ему дали имя Героя Социалистического Труда. Все знали его и звали Героем Гасымом. Он скончался на пару месяцев раньше Сталина.

Для деревни двойной трагедией обернулась смерть товарища Сталина, который собственноручно подписал удостоверение о награждении своего близкого друга Героя Гасыма. Слезы лились рекой.

Эти тяжелые дни навсегда запечатлелись в памяти маленькой Месме. Но то, что с ней произошло немного спустя, заставило забыть и слезы матери, и отца, лица которого она никогда не видела, и Героя Гасыма, и самого Сталина.

<sup>8</sup> Шестой аят: Веди нас прямым путем,

*Сирāта ль-лязīна ан‘амта ‘алййхим<sup>9</sup>*

Все произошло в мгновение ока. В мгновение ока вся жизнь Месме перевернулась вверх дном. Заболела мать. Месме, которой тогда было лет пятнадцать, взяла десять килограммов зерна и отправилась на мельницу внизу деревни. Мельник был человеком пожилым и хорошим.

Месме в ту пору цвела. Как говорится в сказках, была всех краше, всех милее. Если б мельник не был бы пожилым и хорошим, она ни за что не отправилась бы туда одна.

*ѓайри ль-маѓдѓуби ‘алййхим ва-ля ѓ-ѓāллйн<sup>10</sup>*

Дойдя до мельницы, Месме кличет мельника — никто не отвечает. Заходит внутрь, но никого не застаёт! Оглядывается по сторонам в поисках мельника. В эту минуту снаружи раздаётся лошадиное фырканье. Месме вздрагивает. На коне внук Героя Гасыма. Он привязывает коня и тут же стремглав заходит внутрь, подминает под себя девушку. Рвет на ней платье. Месме хочет кричать, но не может издать ни звука. Руки слабеют, ноги становятся ватными, она падает на мешок с зерном.

*Бисми-Лляхи-р-Рахмāни-р-Рахїм<sup>11</sup>*

Взяв дочь за руку, мать Месме отправляется к деревенскому аксакалу, Месме рассказывает все, что с ней случилось. Аксакал советует не поднимать шумихи, говорит, что можно уладить вопрос подобру-поздорову. А выход такой: парень должен жениться на Месме!

Мать с дочерью сидят дома, ожидая с часу на час сватов, а в эти минуты деревня празднует победу над бедными, сиротливыми, жалкими Месме и ее матерью.

Проходят месяцы, матери Месме все становится ясно: этот «бесчестный шельмец», у которого за спиной сильные и влиятельные люди, не женится на Месме! Жаловаться властям нет смысла. Во-

---

<sup>9</sup>Седьмой аят: Путем тех, кого Ты благодетельствовал,

<sup>10</sup>Продолжение седьмого аята: не тех, на кого пал гнев, и не заблудших.

<sup>11</sup>Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! (Здесь и далее цитируется сура «Аль-Ихлас».)

первых, мать Месме не знает законы, не знает, где сидит «правительство». Во-вторых, кто станет расследовать случившееся три месяца назад изнасилование в отдаленной горной деревушке? Кто станет, как говорят аксакалы, проверять, что там между ног у какой-то девушки? Если поднять шумиху и пожаловаться, то узнают даже те, кому все невдомек, и Месме опозорится пуще прежнего.

После долгих тягостных размышлений мать Месме решила взять дочь и уйти из этой деревни, где они ни одного дня не были счастливы.

### *Куль хууа АЛЛАХУ Аҳад*<sup>12</sup>

Перед уходом из деревни мать Месме вместе с дочерью отправляется на могилу Героя Гасыма, с плачем обращается к надгробью, рассказывая обо всех злодеяниях: «Дядя Гасым, если б ты не умер, ничего плохого с нами не случилось бы. Сколько вдов жило в нашей деревне в годы войны, но никто их не задевал, никто не посягал на их честь. А теперь все наперекосяк, творят, что хотят. Мы больше не можем тут жить». Она утирает слезы и добавляет: «Дядя Гасым, знаю, ты хороший человек, ты не простишь несправедливость! Заклиная тебя именем Аллаха, скажи пророку Хыдру, защитнику слабых и обездоленных, чтобы он отомстил за мою дочь!»

После этих слов она берет дочь за руку и уходит вдоль реки. Все дома в деревне смотрят им вслед своими стеклянными глазами до тех пор, пока те не исчезают вдаль. А маленькая хибарка смотрит и плачет своим окошком.

### *Аллāху с-Смад*<sup>13</sup>

Мать с дочерью сводят концы с концами, собирая хлопок в полях. К счастью, Месме приходит сватать один состоятельный вдовец из соседней деревни. Мать советует дочери выйти за него: «Доченька, я больна, мне недолго осталось, что ты будешь делать одна-одинешенька в этих краях? Выходи замуж, стань женой и матерью».

Месме выходит замуж за вдовца, но детей у них не рождается.

<sup>12</sup> Первый аят: Скажи: «Он-Аллах-един;

<sup>13</sup> Второй аят: Аллах один;

После смерти ее мужа пасынки дурно, несправедливо с ней обходятся. Официального брака у нее не было, потому пасынки не дают ей ни крохи из того дома, которому она посвятила всю свою молодость. Только по рекомендации местного управления Месме выделяют двухкомнатную квартиру в «финском» поселке.

*Лям ялид уа-лям юляд<sup>14</sup>*

Когда нашу деревню захватили, все устремились в «финский» поселок, где жила Месме. Потому что там были пустующие дома. Один из пожилых мужчин узнал, что в поселке живет Месме. Его слова до сих пор звучат у меня в ушах: «В Бога я не верю, но в том, что с нами приключилось, сокрыта великая мудрость!» А Месмэ, жившая в доме номер четырнадцать, вовсе обо всем этом не думала, только и стояла на мосту над каналом и плакала, глядя на прибывающих беженцев.

После завершающих слов молитвы все, как это принято во время молитвы за упокой, скажут хором: «Упокой Аллах ее душу! Даруй Аллах ей рай!» Но до этого возгласа оставалась пара-тройка секунд, мулла произносил последние слова только сейчас:

*уа лям якун-ляху куфуан ахад<sup>15</sup>*

*Перевод с азербайджанского Ниджата МАМЕДОВА*

---

<sup>14</sup> Третий аят: Не рождал Он, и не был рожден,

<sup>15</sup> Четвертый аят: И с Ним никто не сравним».